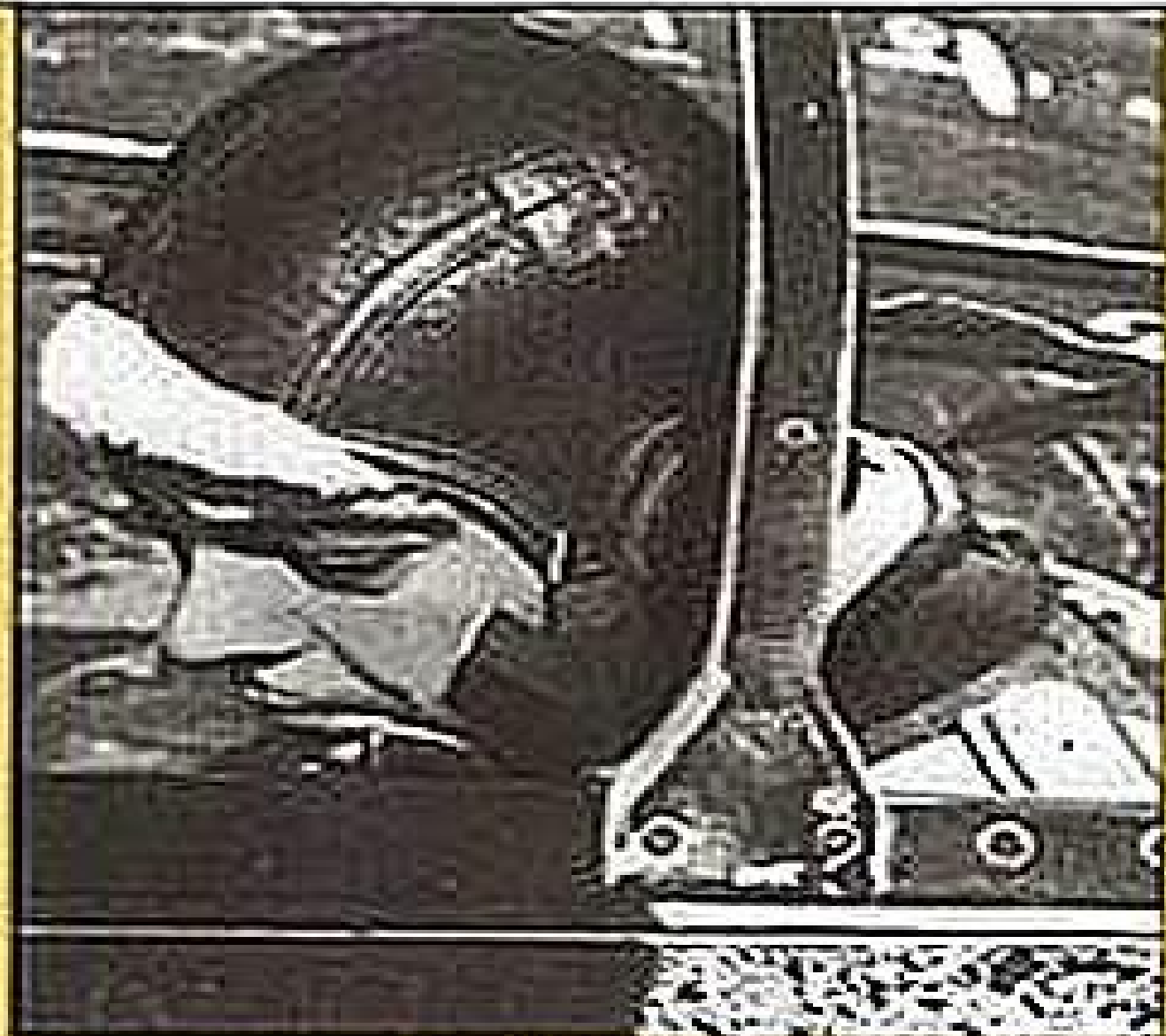


Антуан де Сент- Экзюпери



Annotation

Antoine de Saint-Exupéry. Vol de nuit. Roman. Editions Gallimard. 1931.

Перевод с французского Мориса Ваксмахера. 1962.

Антуан де Сент-Экзюпери. Сочинения в двух томах. Том 1. Издательство «Согласие». Москва. 1994.

- [Антуан де Сент-Экзюпери](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)
 - [XXII](#)
 - [XXIII](#)
-

Антуан де Сент-Экзюпери

•

НОЧНОЙ ПОЛЁТ

Посвящается Дидье Дора

Холмы под крылом самолёта уже врезали свои чёрные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом; в этой стране они расточают своё золото с той же щедростью, с какой ещё долгое время после ухода зимы льют снежную белизну.

И пилот Фабьен, который с крайнего юга, из Патагонии, вёл почтовый самолёт на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнают об этом воды в гавани: по спокойствию, по лёгким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд.

Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он — пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шёл от города к городу — он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах.

Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединённой фермой; казалось, она плывёт ему навстречу по волнам прерии и несёт на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль.

«Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдём на посадку.»

Бортрадист передал это сообщение по всей линии.

На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого.

Радист передал пилоту записку:

«Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?»

Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования сообщают: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил:

— Полетим дальше.

А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и

разложение.

Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Всё, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, — всё это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела — ведь и в тяготах есть своя отрада — и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома низменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав — полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке — словно любовь — умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесённые старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. И городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти — обо всём, с чем человек сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия.

Десять минут — и снова в путь.

Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан; теперь это была лишь горстка огней; потом она превратилась в пригоршню звёзд и, поманив его ещё раз, рассеялась пылью.

«Уже не видно приборов, надо включить свет.»

Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднёс руку к лампочке — пальцы почти не окрасились.

«Слишком рано.»

А ночь поднималась тёмными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни; их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая

бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней; каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду; так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолёт входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, — легко и плавно. И Фабьен был счастлив.

Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов — и остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал — он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи — холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полёте не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма.

Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нём поудобнее.

Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил её на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашёл её, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет — и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолёта в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора — все оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полёт, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды.

И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звёздочка во мраке — это дом, и в нём — одиночество. А та, что погасла, — это дом, приютивший любовь...

Или тоску. Дом, который не шлёт больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и невдомёк, что помыслы их летят так далеко во мраке сомкнувшейся над ними ночи. Но

Фабьен слышит их, когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взнесённые из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолёт, в котором пульсирует жизнь; он пробился — как сквозь десять войн — сквозь десять гроз, прошёл по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот, победитель, достиг наконец этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет её, пролетев восемьсот километров, уже достиг кого-то — как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.

II

Итак, три почтовых самолёта — из Патагонии, из Чили и из Парагвая — возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолёт, который около полуночи отправлялся в Европу.

Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полёте и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне.

Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперёд по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трёх самолётов ещё не приземлился — и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолётов из ночи на берег.

Подошёл служащий и передал Ривьеру радиограмму:

— Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса.

— Хорошо.

Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдаёт ему один самолёт; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернёт ему и два других самолёта.

Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черёд тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолётов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь ещё одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею...» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда ещё его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя, — волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, всё это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришёл он к старости, к

мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грёзах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолёты...

Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолёта. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик кивнул на отливающую синевой ось: «Она была слишком туго закреплена, я исправил». Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. «Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки посвободнее.» Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его:

— Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь?

— О, любовь, господин директор... знаете ли...

— Вам, как и мне, всегда не хватало времени...

— Да, не очень-то хватало...

Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску: «Вот и всё! Готово!»

«Вот и всё! — подумал Ривьер. — Моя жизнь тоже готова!»

Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолёт уже гудел в воздухе.

III

Отдалённый гул мотора наливался, густел. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Всё приняло праздничный вид.

— Вот он!

Самолёт уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, — что казался совсем новым. Вот он остановился наконец перед ангаром; механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пельрен не шевелился.

— Эй! Чего вы ждете? Выходите!

Занятый каким-то таинственным делом, пилот не отвечал. Вероятно, он прислушивался к ещё не угасшему в нём шуму полёта. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то ощупывать внизу. Наконец выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвёл их серьёзным взглядом, словно осматривая своё достояние. Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает. Он честно заслужил всё это: и дружескую встречу, и праздничное убранство ангара, и прочность цемента, и там, вдали, город с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных: он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил обругать их за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности — стоят и любуются луной. Но он сменил гнев на милость:

— За выпивку платите вы...

И вылез из кабины.

Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полёте.

— Если б вы только знали!..

Считая, видимо, что этим всё сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку.

Когда автомобиль уносил Пельрена вместе с хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилоту взгрустнулось. Конечно, что может быть приятнее — выпутаться из беды и, обретя под ногами твёрдую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Куда как весело!.. И всё же, как вспомнишь, становится не по себе.

Сражение с циклоном — это, по крайней мере, нечто реальное, откровенное. Иное дело — облик вещей, когда им кажется, что они одни.

«Будто в дни восстания, — подумал Пельрен, — лица людей только чуть бледнеют — но как всё кругом меняется!»

Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом.

Мирно летел он над Андийскими Кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение вершин снег внёс покой — как вносят его века в мёртвые старинные замки. На две сотни километров — ни души, ни малейшего признака жизни, ни одного живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до шести тысяч метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг.

Это произошло вблизи пика Тупунгато...

Пельрен задумался. Да-да, именно там стал он свидетелем чуда.

Сначала он ничего не увидел, только ощутил смутное беспокойство. Как человек, который думал, что он один и вдруг чувствует: нет, он уже не один, кто-то на него смотрит. Так и Пельрен — слишком поздно и не понимая ещё что к чему — ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и всё. Откуда вырывался этот гнев?

И как угадал пилот, что гнев источают и камни и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло; не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то неуловимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни, почти такие же белые, как обычно. Всё это медленно оживало — как народ.

Пельрен ещё не вступил в борьбу; он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не мог понять. Точно зверь перед прыжком, напрягал он мускулы, — но всё, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно, — но в этом спокойствии таилась странная мощь.

Потом всё вдруг заострилось. Гребни и пики стали внезапно острыми; пилот почувствовал, что они, как форштевни, рассекают упругую грудь ветра. Потом ему стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, будто огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль; она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай если придется отступить, Пельрен посмотрел назад — и содрогнулся: Кордильеры пришли в волнение.

— Теперь мне крышка.

Впереди остроконечная вершина, словно вулкан в миг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее. И вот стали вспыхивать все пики; казалось, их

зажигает один за другим невидимый факельщик. Закружился первыми водоворотами воздух. И горы вокруг пилота закачались...

Неистовая схватка почти не оставляет следов; Пельрен искал и больше не находил в себе воспоминаний о мощных вихрях, которые завертели его. Он помнил только, как яростно барахтался в языках серого пламени.

Он задумался.

«Циклон — это ничего. Тут уж спасаешь свою шкуру. Но пока он ещё не начался! Эта первая встреча!..»

Ему казалось, что теперь среди тысячи лиц он сможет узнать это яростное лицо; и, однако, он уже забыл его.

IV

Ривьер смотрел на Пельрена. Через двадцать минут тот выйдет из машины и, утомлённый, отяжелевший, смешается с толпой. Может быть, он подумает: «Ну, и устал же я... Гнусная работенка!» И скажет жене: «А ведь здесь, пожалуй, лучше, чем над Андами» — или что-нибудь в этом роде... И, однако, Пельрен почти отрешился от всего, за что так цепко держатся люди; он только что узнал, как всё это мелко. Он прожил несколько часов по ту сторону декораций, прожил, не зная, будет ли ему дано вновь обрести этот город с его огнями, увидит ли он ещё раз пусть скучноватых, но таких дорогих спутников детства — свои маленькие человеческие слабости.

«В любой толпе, — думал Ривьер, — есть люди, которые ничем из неё не выделяются. Но они вестники Чудесного и сами того не знают. Разве что...»

Ривьер боялся иных поклонников авиации. Они не понимали сокровенного смысла трудной жизни лётчиков; их восторги извращали самое существо приключения и принижали людей. Но в Пельрене было благородное величие человека, который просто лучше других знает, чего стоит наш мир, если взглянуть на него под определенным углом зрения, — величие человека, который грубовато пренебрегает пошлыми знаками одобрения...

Ривьер поздравил его по-своему:

— Как вам удалось?..

Ему нравилось, что Пельрен говорил о своём ремесле просто, говорил о полётах, как кузнец о своей наковальне.

Пельрен, чуть ли не извиняясь, начал объяснять: «Путь к отступлению оказался отрезан; у меня не было выбора». К тому же он ничего не видел: снег слепил глаза. Его спасли бешеные токи воздуха — они подбросили самолёт на высоту семи тысяч метров. «Всё время, пока я переваливал через горы, мне приходилось лететь вровень с вершинами.» Он сказал также, что следовало бы переместить воздухозаборник гироскопа, а то его забивает снегом: «Понимаете, образуется ледяная корка...»

Потом новые воздушные потоки завертели Пельрена, отбросили его вниз, до трёх тысяч метров. И как он только не наткнулся на скалы! Вдруг оказалось, что он летит уже над равниной. «Смотрю, а вокруг самолёта — чистое небо!» Пельрену показалось в тот миг, что он вышел из тёмной

пещеры...

— В Мендосе — тоже буря?

— Нет. Когда я сел, небо было совсем чистое; никакого ветра. Но буря шла за мной по пятам.

Он описал её, эту бурю, потому что, сказал он, «как-никак всё это было довольно странно». Вершина бури терялась где-то в вышине, среди снежных туч, а основание катилось по равнине, как чёрный поток лавы. Он поглощал город за городом. «Отродясь не видал ничего подобного...» И Пельрен замолчал, настигнутый каким-то воспоминанием.

Ривьер обернулся к инспектору:

— Это циклон с Тихого океана; нас предупредили слишком поздно. Впрочем, такие циклоны никогда не переваливают через Анды.

Кто мог предвидеть, что на этот раз циклон продолжит свой путь на восток...

Инспектор, ничего не понимавший в этих вещах, согласился с Ривьером.

Будто собираясь что-то сказать, инспектор обернулся к Пельрену; под кожей у инспектора заходил кадык. Но он промолчал и, словно передумав, опять стал смотреть прямо перед собой с меланхолическим достоинством.

Свою меланхолию инспектор возил с собой, как багаж. Он приехал в Аргентину накануне, вызванный Ривьером для выполнения довольно неопределенных обязанностей, и не знал, куда девать свои большие руки и своё инспекторское достоинство. Он не имел права ни на выражение восторга, ни на фантазию, ни на остроумие; по своей должности он должен был восхищаться лишь одним качеством: пунктуальностью. Он не имел права выпить стаканчик-другой в компании приятелей, не имел права быть с товарищами на «ты», не мог отважиться на каламбур — разве только свершится невозможное и судьба пошлёт ему в каком-нибудь аэропорту встречу с другим инспектором.

«Трудно быть судьей», — думал он.

Говоря откровенно, суда он не вершил — он лишь качал головой. Встретившись с чем-то, чего он не понимал (а он не понимал ничего), он медленно качал головой. Это приводило в смятение тех, у кого совесть была нечиста, и способствовало исправному уходу за оборудованием. Его никто не любил: инспектор создан не для любовных утех, а для составления рапортов. Он отказался от мысли предлагать в рапортах какие-либо новые методы или технические усовершенствования — отказался, с тех пор как Ривьер написал: «Инспектора Робино просят представлять не

поэмы, а рапорты. Инспектору Робино надлежит употреблять свои знания для того, чтобы стимулировать служебное рвение персонала». И с той поры человеческие слабости стали его хлебом насущным. Он охотился за любившим выпить механиком, и за начальником аэродрома, явившимся на работу после разгульной ночи, и за пилотом, неумело посадившим самолёт.

Ривьер говорил о нём: «Он не очень умён, поэтому приносит большую пользу». Правила, установленные Ривьером, были для самого Ривьера результатом изучения людей; для Робино существовало лишь изучение правил.

— Робино, — сказал ему как-то Ривьер, — во всех случаях, когда самолёт вылетает с опозданием, вы должны лишать виновных премии за точность.

— Даже тогда, когда задержка от них не зависит? Даже в случае тумана?

— Даже в случае тумана.

И Робино испытал своего рода гордость: значит, человек, под чьим началом он служит, так силён, что не боится быть несправедливым. Значит, на Робино тоже падает отблеск величия этой власти, не боящейся обижать людей.

— Вы дали отправление в шесть пятнадцать, — повторял он потом начальникам аэропортов. — Мы не можем выплатить вам премию.

— Но, господин Робино, ведь в пять тридцать за десять шагов не было видно ни зги!

— Правила есть правила.

— Господин Робино, не можем же мы разогнать туман!

Но Робино напускал на себя таинственность и молчал. Он представлял дирекцию. Из всех этих пешек он один понимал, что, наказывая людей, можно улучшать погоду.

«Он вообще не думает, — говорил о нём Ривьер, — это лишает его возможности думать неверно».

Пилот, калечивший машину, лишался премии за безаварийные полёты.

— А если пилот терпит аварию над лесом?

— Безразлично, хотя бы и над лесом.

И Робино неукоснительно следовал этому указанию.

— Я очень сожалею, — говорил он пилотам, упиваясь собственными словами, — я бесконечно сожалею, но старайтесь терпеть аварии не над лесом.

— Но, господин Робино! Ведь это от нас не зависит!

— Правила есть правила.

«Правила, — думал Ривьер, — похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей».

Ривьеру было безразлично, справедлив он в глазах людей или несправедлив. Быть может, слова «справедливость» и «несправедливость» вообще были лишены для него всякого смысла. В маленьких городках обыватели кружатся вечерами вокруг беседки, в которой играет музыка; Ривьер думал: «Какой смысл говорить о справедливости или несправедливости по отношению к ним: они пока ещё не существуют». Человек был для него девственным воском, из которого предстояло что-то вылепить. В эту материю надо вдохнуть душу, наделить её волей. Своей суровостью он хотел не поработить людей, а помочь им превзойти самих себя. Наказывая их за каждое опоздание, он совершал несправедливость, — но тем самым он устремлял волю людей, их помыслы на одно: на то, чтобы в каждом аэропорту самолёты вылетали без опозданий; он создавал эту волю. Не позволяя людям радоваться нелётной погоде как приглашению отдохнуть, он заставлял их напряженно ждать минуты, когда небо прояснится; и каждый — вплоть до последнего подсобного рабочего — в душе воспринимал это ожидание как что-то унижительное. И они стремились использовать первую же трещину в небесной броне. «На севере — окно! В путь!» Благодаря Ривьеру на всей линии в пятнадцать тысяч километров господствовал культ своевременной доставки почты.

Ривьер говорил иногда:

— Эти люди счастливы: они любят своё дело, и любят его потому, что я строг.

Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. «Нужно заставить их жить в постоянном напряжении, — размышлял Ривьер, — жизнью, которая приносит им и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь».

Когда машина въехала на улицы города, Ривьер приказал отвезти его в контору компании. Оставшись наедине с Пельреном, Робино посмотрел на лётчика и заговорил.

В тот вечер Робино охватила тоска. Перед лицом Пельрена-победителя он только что обнаружил, насколько серой была его собственная жизнь. Обнаружил, что он, Робино, несмотря на своё звание инспектора, на свою власть, стоил меньше, чем этот разбитый усталостью, закрывший глаза человек с чёрными от масла руками, забившийся в угол машины. Впервые Робино испытывал восхищение и потребность выразить это чувство. А больше всего — потребность в дружбе. Он устал от поездки, от каждодневных неудач; он даже чувствовал себя немного смешным. В этот вечер, проверяя склад горючего, он совершенно запутался в цифрах, и тот самый кладовщик, которого он хотел поймать на злоупотреблениях, сжалился над ним и закончил за него подсчёты. Больше того, заявив, что масляный насос типа «Б-6» установлен неправильно, он спутал его с масляным насосом типа «Б-4», и коварные механики позволили ему добрых двадцать минут клеймить позором «невежество, которому нет оправдания», — его собственное невежество.

К тому же он боялся своей комнаты в гостинице. Везде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, он шёл после работы в свой неизменный номер. Обременённый переполнявшими его тайнами, он запирался на ключ, вынимал из чемодана стопу бумаги, медленно выводил слово «Рапорт» и, написав несколько строчек, рвал бумагу в клочки. Он страстно мечтал спасти компанию от великой опасности. Но компании никакая опасность не угрожала. До сих пор ему удалось спасти одну лишь втулку винта, тронутую ржавчиной. Неторопливо водя пальцем по этой ржавчине, он мрачно смотрел на стоявшего перед ним начальника аэродрома; тот ответил: «Обратитесь в посадочный пункт, откуда этот самолёт только что прибыл...» Робино начинал сомневаться в значительности своей роли.

Желая сблизиться с Пельреном, он отважился предложить:

— Не пообедаете ли со мной? Мне хочется немного поболтать... Мои обязанности не так уж легки... — Но, боясь упасть в глазах пилота, тут же поправился: — На мне лежит такая ответственность!

Подчинённые не любили допускать Робино в свою частную жизнь. Каждый думал: «Пока он ещё ничего не нашёл для своего рапорта, но как только он проголодается, он меня съест».

Однако в тот вечер Робино думал лишь о своих бедах: его подлинную тайну составляла тягостная экзема, постоянно мучившая его, и ему

захотелось сегодня рассказать об этом, захотелось, чтобы его пожалели: не находя больше утешения в гордости, он искал его теперь в смирении. Во Франции у него была любовница; возвращаясь, он рассказывал ей по ночам о своей инспекционной деятельности, — это был его способ обольщения, — но он знал, что она не любит его и сегодня ему было просто необходимо поговорить о ней.

— Так вы пообедаете со мной?

Пельрен великодушно согласился.

VI

Служащие дремали за столами буэнос-айресской конторы, когда вошёл Ривьер. В своём неизменном пальто, в шляпе он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания — так мало места он занимал, невысокий, сухощавый, так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда. Но люди ощутили внезапный прилив рвения. Зашевелились секретари, начал перелистывать последние документы заведующий бюро, застучали пишущие машинки.

Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации телеграмм.

Ривьер сел и стал читать.

Самолёт, который прибыл из Чили, выдержал испытание: перед Ривьером проходили события удачного дня, когда всё как-то устраивается само собой, когда донесения, которые, облегчённо вздыхая, посылают один за другим аэропорты, становятся скупыми сводками одержанных побед. Почтовый из Патагонии тоже шёл быстро вперёд; он даже опережал расписание: ветры гнали с юга на север огромную попутную волну.

— Дайте метеосводки.

Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Америку окутывал золотистый вечер. Ривьер радовался этому усердию природы. Где-то в ночи вёл битву самолёт из Патагонии, но у него были все шансы на победу.

Ривьер отодвинул тетрадь.

— Хорошо!

И вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди, — ночной страж, бодрствующий над доброй половиной мира.

Он остановился перед открытым окном — и постиг ночь, эту ночь, принявшую Буэнос-Айрес, всю Америку под свои просторные своды. Он не удивился этому ощущению величия. Небо Сантьяго — небо чужой страны; но самолёт идёт в Сантьяго, люди по всей линии, из конца в конец, живут под одним бездонным куполом. Вот летит сейчас другой почтовый самолёт, тот, чей голос так жадно ловят наушники радистов; ещё недавно рыбаки Патагонии видели сверкание его бортовых огней. Чувство тревоги за находящийся в полёте самолёт ложится грузом не только на плечи Ривьера: услышав рокот мотора, столичные города и провинциальные

городишки чувствуют ту же тревогу.

Радуюсь, что ночь так чиста, он вспомнил другие ночи, когда казалось, будто самолёт погружается в хаос и спасти его невообразимо трудно... В такие ночи радиостанция Буэнос-Айреса слышит, как к жалобе самолёта примешивается хруст гроз; за глухой оболочкой пустой породы теряется золотая жила музыкальной радиоволны. И какая скорбь звучит в минорной песне самолёта, который, как слепая стрела, устремляется навстречу опасностям ночи!

«В ночь дежурства место инспектора — в конторе», — подумал Ривьер.

— Разыщите Робино!

Тем временем Робино старался завоевать дружбу пилота. В гостинице он распаковал перед Пельреном свой чемодан; из недр чемодана явились на свет те малозначительные предметы, которые сближают инспекторов с остальной частью человечества: несколько безвкусных сорочек, несессер с туалетными принадлежностями, фотография тощей женщины (инспектор приколот её к стене). Так он смиренно исповедовался перед Пельреном в своих нуждах, в своих нежных чувствах, в своих печалях. Раскладывая перед лётчиком эти жалкие сокровища, он выставлял напоказ свою нищету. Свою нравственную экзему. Он показывал свою тюрьму.

Но у Робино, как у всех людей, был в жизни маленький луч света. С бесконечной нежностью он извлёк с самого дна чемодана небольшой, тщательно завязанный мешочек. Он долго поглаживал его ладонью, не произнося ни слова. Потом разжал наконец руки:

— Я привёз это из Сахары...

Инспектор даже покраснел от столь смелого признания. Его мучили неприятности; он был несчастлив в браке; жизнь его была безотрадней, и он находил утешение в маленьких чёрных камешках: они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны.

— Точно такие же попадают иногда и в Бразилии, — сказал он и покраснел ещё больше.

Пельрен потрепал по плечу этого инспектора, склонившегося над легендарной Атлантидой...

Что-то похожее на стыдливость заставило Пельрена спросить:

— Вы интересуетесь геологией?

— Это моя страсть.

Во всём мире только камни были к нему мягки.

Робино вызвали в контору; он стал грустен, но обрёл при этом своё обычное достоинство.

— Я вынужден вас покинуть: господин Ривьер требует меня по весьма важному делу.

Когда Робино вошёл в контору, Ривьер успел о нём забыть. Он размышлял, глядя на стенную карту, где красной краской была нанесена сеть авиалиний компании. Инспектор ждал его приказаний. После долгих минут молчания Ривьер, не поворачивая головы, спросил:

— Что вы думаете об этой карте, Робино?

Возвращаясь из мира грёз, Ривьер предлагал иногда своим подчинённым подобные ребусы.

— Эта карта, господин директор...

Честно говоря, инспектор ничего о ней не думал; с суровым видом он созерцал карту и чувствовал, что инспектирует сразу Европу и Америку. А Ривьер между тем продолжал свои раздумья: «Лицо этой сети прекрасно, но грозно. Красота, стоившая нам многих людей, — молодых людей. На этом лице гордое достоинство отлично сработанной вещи, но сколько ещё проблем ставит оно перед нами!..» Однако важнее всего для Ривьера всегда была цель.

Робино по-прежнему стоял рядом, уставившись на карту; он понемногу приходил в себя. От директора он не ждал сочувствия.

Однажды он попытался было разжалобить Ривьера, рассказав о своём нелепом, портившем ему жизнь недуге, но тот ответил насмешкой:

— Экзема мешает вам спать — значит, она побуждает к действию.

В этой шутке Ривьера была большая доля правды. Он утверждал:

— Если бессонница рождает у музыканта прекрасные произведения — это прекрасная бессонница!

Как-то он сказал, указывая на Леру:

— Подумайте, как прекрасно уродство: оно гонит прочь любовь...

Может быть, всем тем высоким, что жило в Леру, он был обязан обидчице судьбе, которая свела его жизнь к одной лишь работе...

— Вы очень близки с Пельреном?

— Гм...

— Я не упрекаю вас.

Ривьер повернулся и, нагнув голову, стал ходить по комнате мелкими шагами, увлекая за собой Робино. На устах директора заиграла печальная улыбка, значения которой Робино не понял.

— Только... Только помните, что вы — начальник.

— Да, — сказал Робино.

А Ривьер подумал, что вот так каждую ночь завязывается в небе узелок новой драмы. Ослабнет воля людей — жди поражения; а предстоит, быть может, тяжёлая борьба.

— Вы не должны выходить из роли начальника, — Ривьер будто взвешивал каждое слово. — Возможно, ближайшей ночью вы отправите этого лётчика в опасный рейс; он должен вам повиноваться.

— Да...

— В ваших руках, можно сказать, жизнь людей, и эти люди — лучше, ценнее вас... — Он запнулся. — Да, это важно.

Ривьер по-прежнему ходил мелкими шагами; несколько секунд он помолчал.

— Если они повинуются вам из дружбы — значит, вы их обманываете. Ведь вы, вы лично, не имеете права требовать от людей никаких жертв.

— Да, конечно...

— Если же они надеются, что ваша дружба может избавить их от трудной работы, тогда вы опять-таки их обманываете: они обязаны повиноваться в любом случае. Сядьте-ка.

Ривьер мягко подтолкнул Робино к своему столу.

— Я хочу напомнить вам о ваших обязанностях, Робино. Если вы устали, не у этих людей вам искать поддержки. Вы — начальник. Ваша слабость — смешна. Пишите.

— Я...

— Пишите: «Инспектор Робино налагает на пилота Пельрена такое-то взыскание за такой-то проступок». Проступок найдете сами.

— Господин директор!

— Исполняйте, Робино. Действуйте так, как если бы вы поняли. Любите подчинённых. Но не говорите им об этом.

Отныне Робино будет с новым рвением требовать, чтобы на втулках не было ржавчины.

Один из аэродромов линии сообщил по радио: «Показался самолёт. Лётчик даёт сигнал: „Неисправность в моторе. Иду на посадку“».

Значит, будут потеряны полчаса. Ривьер обозлился; так бывает при внезапной остановке курьерского поезда в пути, когда минуты начинают бежать вхолостую, уже не отдавая своей доли покоренных просторов. Большая стрелка часов на стене отсчитывала теперь мёртвое пространство... А сколько событий могло бы вместиться в этот раствор циркуля!

Чтобы обмануть тягостное ожидание, Ривьер вышел из комнаты, и ночь показалась ему пустой, как театр без актёров. «И такая ночь пропадает

зря!» Со злобой смотрел он на чистое небо, украшенное звёздами, на эти божественные сигнальные огни, на луну, — смотрел, как попусту растрачивается золото такой ночи.

Но как только самолёт поднялся в воздух, ночь снова стала для Ривьера волнующе прекрасной. Она несла в своём лоне жизнь. Об этой жизни и заботился Ривьер.

— Запросите экипаж, какая у них погода. Промелькнули десять секунд.

— Превосходная.

Последовали названия городов, над которыми пролетал самолёт, и для Ривьера это были крепости, взятые с бою.

VII

Часом позже бортрадист патагонского почтового ощутил лёгкий толчок, точно кто-то приподнял его за плечи. Он посмотрел вокруг — тяжелые тучи притушили свет звёзд. Он наклонился к земле, надеясь отыскать огни деревень, похожие на прячущихся в траве светлячков, но в этой чёрной траве ничто не сверкало.

Он с тоскою подумал, что предстоит трудная ночь: наступление, отступление, захваченные территории, которые приходится возвращать врагу. Он не понимал тактики пилота; ему казалось, что они скоро врежутся в толщу ночи, как в стену.

Теперь он заметил впереди, на горизонте, какие-то едва уловимые отблески, словно зарево над кузницей. Радист тронул Фабьена за плечо, но пилот не пошевелился.

Первые волны дальней грозы докатились до самолёта. Металл слегка всколыхнулся всей своей массой, навис тяжестью над телом радиста, потом будто растворился, растаял, и несколько секунд радист плыл один в ночной тьме. Тогда он вцепился обеими руками в стальные лонжероны.

Во всей вселенной радист видел только красную лампочку, освещавшую кабину, и содрогнулся, представив, как он спускается в самое сердце ночи, под защитой одной только крохотной шахтерской лампы. Он не посмел тревожить пилота вопросами. Сжав руками сталь, подавшись вперёд к Фабьену, смотрел он в его угрюмый затылок.

В слабом свете вырисовывалась голова, неподвижные плечи. Большое тёмное тело чуть склонилось влево; обращённое к буре лицо омывалось, должно быть, отблесками грозы. Но этого радист не видел. Все чувства, торопливо сменявшие друг друга на устремлённом к буре лице — гримаса досады, воля, гнев, — все сигналы, которыми бледное лицо пилота обменивалось с короткими вспышками грозových огней, всё это оставалось для радиста непостижимым.

Но он угадывал мощь, затаившуюся в самой неподвижности этой тёмной фигуры. Он восхищался мощью, которая неудержимо влекла его навстречу грозе, но и защищала его. Он знал, что руки, сомкнувшиеся на штурвале, уже пригнули бурю, как загривок зверя, а сильные, пока ещё неподвижно застывшие плечи хранят огромный запас энергии.

Радист подумал, что в конце концов вся ответственность ложится на

пилота. И, словно усевшись на круп коня, летящего галопом в объятья пожара, радист с наслаждением ощутил материальную, весомую, прочную силу, которая струилась из этой неподвижно застывшей впереди чёрной фигуры.

Слева, как маяк с мигающим огнём, слабо вспыхнул новый очаг.

Радист хотел было дотронуться до плеча Фабьена, предупредить его, но лётчик сам уже медленно поворачивал голову и несколько секунд смотрел в лицо новому врагу; потом, так же медленно, он принял прежнее положение: всё те же неподвижные плечи, тот же прижатый к кожаной спинке затылок.

VIII

Ривьер вышел на улицу. Ему хотелось немного пройтись, хотелось заглушить ту тревогу, которая снова овладела им. Он, чья жизнь всегда была посвящена только действию, действию, проникнутому драматизмом, он с удивлением ощутил, как эта драма уступает место какой-то иной, его личной драме. Он подумал, что жизнь обывателей в маленьких городишках, на первый взгляд тихая, скользящая вокруг музыкальных павильонов, — подчас тоже таит в себе тяжкие драмы: болезнь, любовь, смерть и, может быть... Собственная болезнь многому его научила. «Будто открылись какие-то новые окна», — думал он.

Позже, часам к одиннадцати вечера, почувствовав себя лучше, Ривьер зашагал обратно, к конторе. Неторопливо пробирался он среди людей, толпившихся у входа в кинотеатры. Он поднял глаза к звёздам, которые сверкали над узкой улицей и, отступая перед огнями реклам, таяли в небе. «Сегодня в полёте — два почтовых. Сегодня вечером я отвечаю за всё небо. Далёкая звезда подаёт мне знак. Она ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чувствую себя каким-то чужим, одиноким.»

Вспомнилась музыкальная фраза — несколько нот из сонаты, которую слушал он вчера в кругу приятелей. Приятели не поняли музыки.

— Такое искусство наводит скуку. И на вас тоже, только вы не хотите в этом признаться.

— Возможно, — ответил он.

Как и теперь, он тогда почувствовал себя одиноким, но тут же понял, как обогащает его такое одиночество. Музыка несла ему некую весть — ему одному среди всех этих недалеких людей. Задумчиво поверяла она свою тайну, как знак, что подаёт ему звезда. Через головы стольких людей она говорила с ним на языке, понятном ему одному.

На тротуарах Ривьера толкали. Он думал: «Стоит ли раздражаться? Я — как человек, у которого болен ребёнок; медленно идёт он в толпе и несёт в душе великое безмолвие своего дома».

Ривьер смотрел на людей. Он пытался распознать тех, кто бережно хранит в душе свое открытие или свою любовь. Он думал о том, как одиноки смотрители маяков.

Ривьеру была приятна тишина конторы. Медленно шёл он по комнатам, и его шаги одиноко отдавались в пустом здании. Пишущие

машинки спали под чехлами. За сомкнувшимися дверцами огромных шкафов лежали ровные ряды канцелярских папок. Десять лет опыта и труда! Ему представилось: он ходит по подвалам банка, вокруг громоздятся несметные богатства. Он думал о том, что каждая из его ведомостей накопила в себе нечто более ценное, чем золото, — живую силу, хотя и заснувшую, как золото в банковских кладовых.

В одной из комнат он встретит сейчас единственного бодрствующего здесь человека — дежурного секретаря. Тот работает, чтобы продолжалась жизнь, чтобы продолжались усилия человеческой воли, чтобы никогда и нигде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, не обрывалась цепь.

«И человек этот даже не догадывается о собственном величии.»

Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолёты. Ночной полёт тянется долго, словно болезнь. Возле самолёта надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу и для которых не существует — во всём мире не существует ничего, кроме зыбких невидимых стихий. Силой собственных рук, вслепую, должны они вырвать себя из этих стихий, точно из морской пучины. Как страшно может прозвучать иногда признание: «Чтоб разглядеть свои руки, мне пришлось их осветить...» В красном свете выступает лишь бархат рук, словно брошенных в ванночку с проявителем. Это всё, что остаётся от вселенной, и это необходимо спасти.

Ривьер толкнул дверь, ведущую в отдел эксплуатации. Отбрасывая в угол светлое пятно, в комнате горела единственная лампочка. Стрекотанье пишущей машинки придавало тишине какой-то особый смысл, но не нарушало её. Время от времени трепетал в воздухе телефонный звонок; дежурный секретарь вставал со своего места и шёл навстречу этому зову, настойчивому и грустному. Он снимал трубку, и неясная тревога исчезала; в затканном тенью углу начинался тихий разговор. Потом человек бесстрастно возвращался к столу; выражение сонливого одиночества, застывшее на его лице, скрывало неведомую тайну. В часы, когда два почтовых находятся в полёте, каждый призыв, идущий оттуда, снаружи, из ночи, несёт в себе угрозу. Ривьер подумал о телеграмме, которая внезапно обрушивается на сидящую вокруг лампы семью, когда в течение нескольких бесконечно долгих секунд лицо отца, прочитавшего телеграмму, ещё не выдаёт своей страшной тайны. Лишь пробегает по лицу лёгкая волна — такая спокойная, не похожая на крик о помощи... И каждый раз в приглушённом телефонном звонке Ривьеру слышалось глухое эхо этого крика. Одиночество замедляло движение дежурного, делало его

похожим на пловца, который барахтается в волнах. Когда он возвращался из тёмного угла к своей лампе, казалось, что пловец вынырнул из глубин, и каждый раз в движениях человека Ривьеру чудилась давящая тяжесть тайны.

— Сидите. Я подойду.

Ривьер снял трубку и услышал гуденье ночного мира.

— Говорит Ривьер.

Слабый шум, потом голос:

— Соединяю вас с радиостанцией.

Снова шум, треск переключаемых контактов; потом другой голос:

— Говорит радиостанция. Передаём телеграммы. Ривьер записывал, кивая головой:

— Так... так...

Ничего существенного. Обычные служебные сводки. Из Рио-де-Жанейро требовали разъяснений, Монтевидео говорил о погоде, а Мендоса о техническом оборудовании. Привычные домашние звуки.

— А самолёты?

— Гроза. Самолётов не слышим.

— Понятно.

«Здесь ясная, звёздная ночь, — думал Ривьер, — а радисты уже уловили в ней дыханье далёких гроз».

— До свидания.

Ривьер поднялся. К нему подошёл секретарь.

— Бумаги на подпись, господин директор...

— Хорошо.

Ривьер вдруг ощутил прилив дружелюбия к товарищу по работе, на которого тоже взвален груз этой ночи. «Мы вместе ведём бой, — думал Ривьер. — А он так никогда и не узнает, как крепко связывает нас это ночное бдение».

IX

Войдя с пачкой бумаг в свой кабинет, Ривьер почувствовал ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя.

«Плохо дело.»

На секунду прислонился к стене.

«Экая нелепость!»

Добрался до кресла.

И снова — в который раз — он, старый лев, ощутил на себе путы, и глубокая печаль охватила его.

«Столько трудов — и прийти к такому итогу! Мне за пятьдесят. Полвека наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий, — и вот что занимает меня теперь, вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость!»

Он отёр пот, подождал, пока боль отпустит его, и принялся за работу.

Медленно перелистывал он бумаги.

«В ходе разборки мотора 301 в Буэнос-Айресе замечено... Наложить на виновного строгое взыскание.»

Он подписал.

«На посадочной площадке Флорианополиса вопреки инструкциям...»

Он подписал.

«В дисциплинарном порядке заменить начальника аэродрома Ришара, который...»

Он подписал.

Боль в боку затаилась, но не уходила; она жила в Ривьере как нечто новое, придавая жизни новый смысл, и заставляла Ривьера думать о себе самом — думать с горечью:

«Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я караю — и число аварий сокращается. Ответственность за аварии лежит не на человеке, а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь людей в руках. Будь я всегда справедлив, каждый ночной полёт превращался бы в игру со смертью».

Ривьера вдруг охватила усталость; большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своём. Он подумал: «А как хорошо было бы пожалеть людей...»

Погружённый в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги.

«...что до Робле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в

составе нашего персонала.» Ривьер вспомнил старика Робле, вспомнил вчерашний разговор:

— Урок. Это будет хороший урок для остальных.

— Но, мсье!.. Взгляните, мсье!..

Потрёпанный бумажник, в нём — старый газетный лист: молодой Робле сфотографирован рядом с самолётом.

Ривьер видит, как дрожит в старческих руках наивное свидетельство былой славы...

— Это было в девятьсот десятом, мсье... Ведь это я собрал первый в Аргентине самолёт! Я в авиации — с девятьсот десятого года... Двадцать лет, мсье! И как вы только можете говорить... А молодые!.. Они будут смеяться надо мной в цеху... Ох, как они будут смеяться!

— Это не относится к делу.

— А мои дети, мсье! У меня дети!..

— Я вам уже сказал: вы получите место подсобного рабочего.

— Но моё достоинство, мсье, моё достоинство! Подумайте, мсье, двадцать лет в авиации, старый рабочий — и вдруг...

— Место подсобного рабочего.

— Я отказываюсь, мсье, отказываюсь!

Старческие руки дрожат, и Ривьер старается не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки.

— Место подсобного рабочего.

— Нет, мсье, нет... Я хочу вам сказать...

— Можете идти.

«Я прогнал с такой жестокостью не его, — думает Ривьер. — Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал.

Ибо обстоятельствами надо управлять — и они повинуются, и ты созидашь. Да и людей созидашь. Или устраняешь, если они — орудие зла».

«Я хочу вам сказать...»

Что хотел сказать ему несчастный старик? Что у него на старости лет отнимают единственную радость? Что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолёта? Что его жизнь лишается великой поэзии? И потом... что нужно как-то жить?

«Я очень устал, — думал Ривьер. В нём поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал: — Я так любил лицо этого старого товарища...» И снова увидел руки старика, снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было

сказать: «Ну ладно, ладно, оставайтесь», — и по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер, и эта радость, о которой сказало бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, — эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире. «Разорвать бумагу?..» Семья старика, его возвращение вечером домой — и скромная гордость:

— Так, значит, тебя оставляют?

— Ещё бы! Ещё бы! Ведь это я собрал первый в Аргентине самолёт!

И молодежь в цеху не будет больше смеяться, и к старику опять будут относиться с уважением...

«Разорвать?»

Позвонил телефон. Ривьер взял трубку.

Долгое молчание. Потом отголоски, гулкая глубина, которую придают человеческим голосам пространство и ветер. Наконец из трубки послышалось:

— Говорит аэродром. Кто у аппарата?

— Ривьер.

— Господин директор, шестьсот пятидесятому дано отправление.

— Хорошо.

— Наконец всё в исправности. Но пришлось в последний момент чинить проводку: оказались поврежденными контакты.

— Хорошо. Кто монтировал цепь?

— Мы проверим. Если разрешите, применим строгие меры: неисправность освещения на борту — вещь очень опасная!

— Разумеется.

Ривьер думал: «Если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полёта погаснет свет. Знать орудия зла и не бороться со злом — преступление. Нет, Робле должен уйти».

Секретарь ничего не видел, он по-прежнему стучал на машинке.

— Что вы печатаете?

— Двухнедельный отчёт.

— Почему он до сих пор не готов?

— Я...

— Придется проверить.

«Странно видеть, как берут верх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная тёмная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растёт, ширится, неистово бьёт ключом повсюду, где только затевается большое дело.» Ривьеру подумалось — под натиском тонких лиан рушатся гигантские

храмы.

«Большое дело...»

Ривьер пытался убедить самого себя:

«Эти люди... Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них...»

Его сердце билось коротко, часто, больно.

«Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точно цены ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека! Не знаю, чего стоит дрожащая рука. И какова цена жалости и ласке...»

Он грезил наяву:

«Жизнь полна противоречий... Каждый выпутывается из них, как может... Но завоевать право на вечность, но творить — в обмен на свою брэнную плоть...»

После краткого раздумья Ривьер позвонил.

— Передайте пилоту европейского почтового: пусть зайдёт ко мне перед вылетом.

И подумал:

«Нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не избавятся от страха перед ночью».

Жена пилота, разбуженная телефонным звонком, посмотрела на мужа, подумала:

«Пусть ещё немного поспит».

Она любовалась его могучей обнажённой грудью; он был словно красавец корабль.

Он спал в своей мирной постели, как в гавани, и, чтобы ничто не тревожило его сон, она расправляла пальцем складки, словно прогоняя тени, словно разглаживая лёгкую зыбь и успокаивая постель; так прикосновение божества смиряет море.

Она встала, распахнула окно, подставила лицо ветру. Из окна открывался весь Буэнос-Айрес. В соседнем доме танцевали; ветер доносил обрывки мелодий — был час развлечений и отдыха. Город запрятал людей в свои сто тысяч крепостей; кругом всё дышало спокойствием и уверенностью; но женщине казалось, что вот-вот раздастся призыв: «К оружию!» — и на этот клич отзовется один-единственный человек, её муж. Он ещё спал, но то был тревожный сон военных резервов, которые скоро будут брошены в бой. Дремлющий город не защищал его; жалкими покажутся лётчику городские огни, когда он, молодой бог, взлетит над их пылью. Жена посмотрела на сильные ладони, которым через час будет вручена судьба европейского почтового, ответственность за что-то большое, подобное судьбе целого города. И в сердце закралась тревога. Этот человек — один среди миллионов — был предназначен для необычного жертвоприношения. Ей стало тоскливо. Он уйдет, ускользнёт от её нежности. Она лелеяла, ласкала, охраняла его не для себя, а для сегодняшней ночи, и эта ночь сейчас возьмёт его — для битв, для тревог, для побед, о которых она никогда не узнает. Ей удалось на краткий срок приручить эти ласковые руки, но она лишь смутно представляла себе их истинное назначение. Она знала улыбку этого человека, знала чуткость влюблённого; но она не знала, как божественно гневен бывает он, оказавшись в сердце грозы. Она обвивала его нежными путами любви, музыки, цветов; но в час отлёта он неизменно сбрасывал эти путы и, видимо, ничуть об этом не сожалел.

Он открыл глаза:

— Который час?

— Полночь.

— Какая погода?

— Не знаю...

Он поднялся. Потягиваясь, медленно подошёл к окну.

— Сегодня я, пожалуй, не замерзну. А какое направление ветра?

— Ты так спрашиваешь, словно я в этом что-нибудь смыслю...

Он выглянул в окно.

— Южный. Прекрасно! Такой ветер удержится по меньшей мере до Бразилии.

Он увидел луну и почувствовал себя совсем богатым. Потом перевёл взгляд вниз, на город.

Город не был сейчас для него ни желанным, ни светлым, ни тёплым. Он уже видел, как развеивается по ветру бесполезная пыль огней большого города.

— О чём ты думаешь?

Он думал о том, что возле Порто-Аллегре возможен туман.

— У меня своя тактика. Я знаю, как его обойти. Он всё ещё смотрел, наклонившись, в окно и глубоко дышал, словно обнажённый пловец перед прыжком в море.

— Ты как будто не очень грустишь... На сколько дней ты улетаешь?

— Дней на восемь, на десять.

Он точно не знает. И отчего ему грустить?.. Равнины, горы, города — он отправляется их покорять. Он — вольная птица. Не пройдет и часа — он будет держать в руках весь Буэнос-Айрес, а потом отбросит его назад.

Он улыбнулся.

— Этот город... Скоро я буду далеко! Хорошо улетать ночью! Повернешь к югу, дашь газ, и через десять секунд весь ландшафт уже опрокинут, и ты летишь на север. И город под тобой — как морское дно.

Она подумала: «От многого должен отказаться завоеватель...»

— Ты не любишь свой дом?

— Люблю...

Но жена знала: он уже далеко от неё. Его широкие плечи уже раздвигают небосвод. Она показала ему на небо.

— Смотри, что за погода! Твоя дорога вымощена звёздами. Он рассмеялся.

— Да.

Положив руку ему на плечо, она с волнением почувствовала прохладу его кожи. И этому телу угрожает опасность!..

— Я знаю, ты сильный. Но будь благоразумен...

— Ну конечно, я благоразумен...

И опять рассмеялся.

Он начал одеваться. Отправляясь на свой праздник, он наряжался в самые грубые ткани, в самую тяжелую кожу; он одевался, как крестьянин. И чем тяжелее он становился, тем больше она любовалась им. Помогла застегнуть пряжку пояса, натянуть сапоги.

— Эти сапоги жмут.

— Вот другие.

— Отыщи-ка шнур, чтобы привязать запасной фонарик.

Она оглядела мужа, в последний раз проверила его доспехи. Всё пригнано как следует.

— Какой ты красивый!

Он тщательно причёсывался.

— Это для звёзд?

— Это — чтоб не чувствовать себя стариком.

— Я ревную...

Он снова рассмеялся, обнял её, прижал к своей тяжёлой одежде. Потом взял её, как маленькую, на руки и — всё с тем же смехом — положил на кровать:

— Спи!

Закрыв за собой дверь, он вышел на улицу и среди преображённой мраком толпы сделал свой первый шаг к завоеванию ночи.

Она осталась одна. Печально смотрела она на цветы, на книги — на всё то нежное, мягкое, что для него было лишь дном морским.

XI

Его принимает Ривьер.

— В последнем рейсе вы выкинули номер. Пошли в обход. А метеосводки были прекрасные, вы свободно могли пройти напрямик. Испугались?

Захваченный врасплох, пилот молчит, медленно трёт ладони. Потом поднимает голову и смотрит Ривьеру прямо в глаза:

— Да.

В глубине души Ривьеру жаль этого смелого парня, который вдруг ощутил страх. Пилот оправдывается:

— Я больше ничего не видел. Конечно, радио сообщало, это верно... Может быть, дальше... Но бортовой огонь почти исчез, я даже не видел собственных рук. Хотел включить головную фару, чтобы хоть крыло разглядеть, — всё такая же тьма. Показалось, что я на дне огромной ямы и из неё не выбраться. А тут ещё мотор стал барахлить...

— Нет.

— Нет?

— Нет. Мы его потом осмотрели. Мотор в полном порядке. Но стоит испугаться — и сразу кажется, что мотор барахлит.

— Да как тут было не испугаться! На меня давили горы. Хотел набрать высоту — попал в завихрение. Вы сами знаете: когда ничего не видишь — и ещё завихрения... Вместо того чтобы подняться, я потерял сто метров. И уже не видел ни гироскопа, ни приборов. И стало казаться, что мотор не тянет, и что он перегрелся, что давление масла... И всё это — в темноте. Как болезнь... Ну и обрадовался я, когда увидел освещённый город!

— У вас слишком богатая фантазия. Идите. И пилот выходит.

Ривьер поглубже усаживается в кресло, проводит рукой по седым волосам.

«Это самый отважный из моих людей. Он вёл себя в тот вечер превосходно. Но я спасаю его от страха.»

И снова, как минутная слабость, возник соблазн.

«Чтобы тебя любили, достаточно пожалеть людей. Я никого не жалею — или скрываю свою жалость. А хорошо бы окружить себя дружбой, теплотой! Врачу это доступно. А я направляю ход событий. Я должен выковывать людей, чтобы и они направляли ход событий. Вечером, в

кабинете, перед пачкой путевых листов особенно остро ощущаешь этот неписанный закон. Стоит только ослабить внимание, позволить твёрдо упорядоченным событиям снова поплыть по течению — и тотчас, как по волшебству, начинаются аварии. Словно моя воля — только она одна — не даёт самолёту разбиться, не даёт ураганам задержать его в пути. Порою сам поражаешься своей власти».

Он продолжает размышлять.

«И тут нет, пожалуй, ничего странного. Так садовник изо дня в день ведёт борьбу на своём газоне... Извечно вынашивает в себе земля дикий, первозданный лес; но тяжесть простой человеческой руки ввергает его обратно в землю».

Он думает о пилоте:

«Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то тёмное, цепкое, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, принимать всерьёз его страхи — и он поверит, что и впрямь побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тайны — только её — он и боится; нужно, чтобы не осталось никакой тайны. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец, потом выбирались из него и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот человек проник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в её толщу, не имея даже своей шахтерской лампочки, которая освещает только руки или крыло, — и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь Неведомое».

Но даже в этой борьбе Ривьера и его пилотов связывало молчаливое братство. Они были людьми одной закалки, ими владела та же жажда победы. Но Ривьер помнил и о других битвах, которые приходилось ему вести за покорение ночи.

В официальных кругах на мрачные владения ночи смотрели с опаской, как на неизведанные лесные дебри. Заставить экипаж устремиться со скоростью двухсот километров в час навстречу бурям, туманам и всем тем угрозам, что таит в себе ночь, казалось рискованной авантюрой, допустимой лишь в военной авиации: вылетаешь с аэродрома в безоблачную ночь, проводишь бомбежку — и той же ночью возвращаешься на тот же аэродром. Но регулярные ночные рейсы обречены на неудачу.

«Ночные полёты — это для нас вопрос жизни и смерти, — отвечал Ривьер. — Каждую ночь мы теряем полученный за день выигрыш во времени — теряем наше преимущество перед железной дорогой и пароходом».

С досадой и скукой слушал Ривьер все эти разговоры: финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение... «Общественным мнением нужно управлять», — возражал он. Он думал: «Сколько времени пропадает напрасно! И всё же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает! Живое должно жить, и для того чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для того чтобы жить, оно создаёт свои собственные законы. Оно неодолимо». Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полётами, не знал, какими путями она это совершит, но он знал, что это неизбежно и что готовиться к этому нужно уже сейчас.

Ему вспоминаются зелёные скатерти, за которыми он сидел, подперев кулаком подбородок и слушая со странным сознанием собственной силы бесконечные возражения. Эти возражения казались ему бесцельными, осуждёнными на гибель самой жизнью. И он чувствовал, как растёт, наливаясь тяжестью, его сила. «Мои доводы неопровержимы; победа останется за мной, — думал Ривьер. — К этому ведёт естественный ход событий».

Когда от него требовали каких-то гарантий, каких-то решений, устраняющих всякий риск, он отвечал:

— Законы выводятся на основании опыта; познание законов никогда не предшествует опыту.

После долгого года борьбы Ривьер добился своего. «Добился благодаря своей убежденности», — говорили одни. «Благодаря своему упорству, медвежьей силе, которая крушит всё на пути», — заявляли другие. «Просто потому, что я избрал верное направление», — думал сам Ривьер.

Но сколько предосторожностей пришлось принимать вначале! Самолёты вылетали с аэродрома лишь за час до рассвета и приземлялись не позже чем через час после захода солнца. И, только накопив некоторый опыт, Ривьер решился послать почтовые самолёты в ночные глубины.

Почти лишённый последователей, осуждаемый чуть ли не всеми, он боролся теперь в одиночестве.

Ривьер звонит, чтобы узнать, каковы последние сообщения с борта самолётов.

XII

Тем временем патагонский почтовый вплотную подошёл к буре, и Фабьен отказался от мысли обойти её стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство: линия молний уходила далеко вглубь, озаряя бастионы туч. И он решил: «Попытаюсь пройти под грозой, нырнуть под неё, ну, а уж если не удастся — лягу на обратный курс».

Он посмотрел на высотомер. Тысяча семьсот метров. Дал ручку от себя, чтобы начать снижение. Мотор сразу стал сильно трясти, самолёт задрожал. Фабьен на глаз выправил угол планирования, потом проверил по карте высоту холмов: пятьсот метров. Чтобы сохранить разрыв между собой и холмами, он решил идти на высоте семисот.

Фабьен жертвовал высотой; так игрок ставит на банк всё своё состояние.

Самолёт попал в завихрение, провалился вниз и задрожал ещё сильнее. Фабьен почувствовал, что ему угрожает невидимый обвал. Ему представилось — машина поворачивает назад и возвращается в мир ста тысяч звёзд... Но Фабьен не меняет курса ни на один градус.

Пилот взвешивает... Возможно, гроза носит лишь местный характер. Ведь Трилью — ближайший аэропорт — сообщил, что небо закрыто на три четверти. Значит, в этой чёрной, плотной, как бетон, массе ему предстоит прожить всего каких-нибудь двадцать минут. И всё же пилот в тревоге. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную темь. Но сейчас нет даже проблесков — лишь едва заметно меняется плотность мрака. Быть может; его просто обманывает утомлённое зрение.

Он развёртывает записку радиста:

«Где мы?»

Дорого дал бы Фабьен за то, чтобы это знать. Он отвечает: «Не знаю. Идем по компасу сквозь грозу».

Он опять наклоняется. Его беспокоит пучок выхлопного пламени, повисший на моторе, как огненный букет; пламя так бледно, что появившись луна, оно тотчас растворилось бы в лунном свете; но в этом мраке небытия оно вбирает в себя весь зримый мир. Пилот видит, как ветер туго сплетает языки огня, похожие на пылающие факелы.

Каждые тридцать секунд Фабьен нагибается к приборам, чтобы

проверить гироскоп и компас. Он не рискует больше включать красные лампочки: они надолго ослепляют его; но от приборов со светящимися циферблатами льётся бледное звёздное сияние. Здесь, среди стрелок и цифр, пилот испытывает обманчивое чувство безопасности; подобное ощущение бывает у человека в каюте корабля, когда волны перекатываются через палубу. С такой же ужасающей неумолимостью на самолёт катится ночь и с нею всё, что несёт она в своём мраке: скалы, обломки, холмы...

«Где мы?» — снова спрашивает радист.

Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет своё угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени, сколько усилий понадобится ему, чтобы сбросить эти мрачные узы. Быть может, он вообще никогда не освободится от них; он поставил свою жизнь на карту — на эту грязную и скомканную бумажку, которую он разворачивает и читает в тысячный раз, стремясь почерпнуть в ней надежду. «Трилью: небо закрыто на три четверти, ветер западный, слабый.» Если Трилью закрыт на три четверти, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только...

Эта слабая надежда побуждает Фабьена лететь вперёд, но сомнения не оставляют его; он кое-как царапает записку: «Не знаю, смогу ли пробиться. Спросите, по-прежнему ли ясно позади нас».

Ответ удручающий:

«Комодоро передает: вернуться сюда невозможно. Буря».

Фабьен начинает догадываться: невиданная буря, бушующая над Андийскими Кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов, на них обрушится циклон.

«Узнайте погоду в Сан-Антонио.»

«Сан-Антонио отвечает: поднимается западный ветер; на западе — буря. Небо закрыто полностью. В Сан-Антонио плохая слышимость: помехи. Я тоже слышу плохо. Думаю, скоро придётся убрать антенну — мешают разряды. Не собираетесь ли повернуть? Каковы ваши планы?»

«Оставьте меня в покое. Запросите погоду в Вайя-Бланке.»

«Вайя-Бланка отвечает: меньше чем через двадцать минут с запада обрушится на Вайя-Бланку сильная гроза.»

«Запросите Трилью о погоде.»

«Трилью отвечает: с запада идёт ураган скоростью тридцать метров в секунду. Шквалы дождя.»

«Передайте в Буэнос-Айрес: заперты со всех сторон; фронт бури

развёртывается на тысячу километров; полная потеря видимости. Что нам делать?»

Для пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к порту (все они казались недоступными), ни к рассвету — через час сорок минут должен был кончиться бензин. Рано или поздно, так ничего и не видя, они рухнут в бездну.

Только б дождаться рассвета...

Утренняя заря представлялась Фабьену золотым песчаным пляжем, к которому их могло прибить после испытаний страшной ночи. Под крылом попавшего в беду самолёта возникли бы спасительные берега равнин. Мирная земля несла бы свои спящие фермы, стада, холмы. Все те неведомые предметы, что перекатываются сейчас во мраке, вмиг приобрели бы безобидный вид. О, если б только было можно — как устремился бы он навстречу дню!..

Он подумал: «Кольцо замкнулось». Так или иначе — всё должно решиться ещё до рассвета, в плотной массе тьмы.

Только так... А бывало, первые часы рассвета приносили ему исцеление...

Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце: между самолётом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи; из них — не выбраться.

XIII

— Асунсьонский почтовый идёт хорошо. К двум часам будет здесь. Но ожидается серьёзное опоздание почтового патагонского; видимо, ему приходится нелегко.

— Так, господин Ривьер.

— Весьма возможно, мы отправим европейский самолёт, не дожидаясь прибытия патагонского. Вы получите распоряжения, как только прибудет асунсьонский. Будьте наготове.

Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку: «Небо чистое, полная луна, ветра нет». Горы Бразилии, чётко выделяясь на светящемся небе, окунали в серебристые воды моря свои поросшие чёрным лесом вершины. На этот лес, не скрашивая его, лились непрерывным дождём лунные лучи. И острова — тоже чёрные, как обломки кораблекрушения в морских волнах. И эта неистощимая луна на всём пути — брызжущий светом фонтан...

Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир мягкого, струящегося сияния. В мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и света. В мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех лёгких ветерков, которые — стоит им слегка покрепчать — могут в несколько часов забить всё небо гнилыми облаками.

И всё же, глядя на это сияние, Ривьер колебался, точно золотоискатель у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полётов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить позиции его противников, что, быть может, его убеждённость окажется перед ними бессильной. Но убеждённость Ривьера осталась прежней; возможно, эта драма — следствие какого-то просчёта, и она свидетельствовала только об этом частном просчёте, больше ни о чём. «Быть может, следует установить наблюдательные пункты на западе... Нужно будет об этом подумать... Как бы то ни было, у меня всё те же веские основания стоять на своём; теперь вероятность несчастных случаев уменьшится: одна из причин стала ясна.» Неудачи закаляют сильных. К сожалению, с людьми приходится вести игру, в которой почти не принимается в расчёт истинный смысл вещей. Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто внешних причин. И

обманчивая видимость проигрыша связывает тебя по рукам и ногам.

Ривьер позвонил.

— От Вайя-Бланки по-прежнему нет радиogramм?

— Нет.

— Вызовите её по телефону.

Пять минут спустя он спрашивал:

— Почему от вас нет сообщений?

— Мы не слышим самолёта.

— Молчит?

— Неизвестно. Кругом грозы. Даже если он что-то передаёт, мы не слышим.

— А Трилью его слышит?

— Мы сами не слышим Трилью.

— Позвоните туда по телефону.

— Пытались. Линия повреждена.

— Какая у вас погода?

— Угрожающая. Молнии на западе и юге. Очень душно.

— Какой ветер?

— Пока слабый. Но это не больше чем на десять минут. Молнии быстро приближаются. Молчание.

— Байя-Бланка! Вы меня слышите? Хорошо. Позвоните мне через десять минут.

И Ривьер стал перелистывать телеграммы южных аэропортов. Все сообщали одно и то же: самолёт молчит. Некоторые аэродромы больше не отвечали Буэнос-Айресу, и на карте расплывалось пятно немых районов, где над маленькими городками уже разразился циклон, где плотно заперты двери и каждый дом на тёмных улицах, подобно кораблю, отрезан от мира и затерян в ночи. Только рассвет принесёт им освобождение.

Но, склонившись над картой, Ривьер всё ещё не терял надежды обнаружить где-нибудь благословенный кусок чистого неба; он обратился по телеграфу к полиции трёх десятков провинциальных городов, запрашивая о погоде, и ответы уже начинали поступать. Каждая из радиостанций, расположенных на линии в две тысячи километров, получила приказ: поймав позывные самолёта, немедленно, в течение тридцати секунд, уведомить об этом Буэнос-Айрес, который в ответ сообщит ей для передачи Фабьену, куда он может укрыться.

Комнаты опять заполнились служащими, которых к часу ночи вызвали в контору. Какими-то таинственными путями узнали они, что ночные полёты, возможно, будут прекращены и что даже европейский почтовый

будет отныне вылетать лишь с рассветом. Понизив голос, они говорили о Фабьене, о циклоне — и особенно о Ривьере. Они угадывали его присутствие, чувствовали, что он сидит здесь, совсем рядом, подавленный ураганом — этим враждебным выпадом самой природы.

Вдруг голоса смолкли: на пороге появился Ривьер — в пальто, в шляпе, неизменно надвинутой на глаза, — вечный путешественник. Он спокойно подошёл к заведующему бюро:

— Уже десять минут второго. Документы европейского почтового оформлены?

— Я... я думал...

— Вам следует не думать, а исполнять.

Он повернулся и, заложив руки за спину, медленно пошёл к открытому окну.

Подбежал служащий:

— Господин директор, получено очень мало ответов.

Сообщают, что во внутренних районах уже разрушены многие телеграфные линии...

— Хорошо.

Неподвижно застыв, Ривьер смотрел в ночь.

Итак, каждая новая весть несла в себе угрозы самолёту. Каждый город, если линии связи ещё не были разрушены и он имел возможность ответить Буэнос-Айресу, сообщал о неумолимом движении циклона, словно о вторжении вражеских армий. «Буря идёт из глубины материка, с Кордильер. Она движется к морю, сметая всё на пути...»

Звёзды казались Ривьеру чересчур яркими, воздух — слишком влажным. Странная ночь! Она внезапно начинала подгнивать — подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Над Буэнос-Айресом ещё царили в полном своём составе звёзды; но то был лишь оазис, притом, недолговечный. К тому же этот порт был недосыгаем для экипажа. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями ветра. Ночь, которую нелегко победить.

Где-то в её глубинах затерялся самолёт, и на его борту — беспомощные, охваченные тревогой люди.

XIV

Жена Фабьена позвонила по телефону.

В те ночи, когда он должен был вернуться, она всегда высчитывала время продвижения патагонского почтового. «Сейчас он вылетает из Трилью...» И опять засыпала. Немного позже: «Он приближается теперь к Сан-Антонио; он уже видит огни...» Тогда она вставала, раздвигала шторы и осматривала небо. «Эти облака мешают ему...» Иногда между тучами, как пастух, расхаживала луна. И молодая женщина возвращалась в постель, успокоенная луной и звёздами: их тысячи, они, как живые существа, окружают её мужа. Около часа ночи она обычно чувствовала, что он уже близко. «Должно быть, он недалеко... Он уже видит Буэнос-Айрес...» И снова вставала, готовила для него еду, варила кофе: «Там, наверху, холодно...» Каждый раз она встречала Фабьена так, словно тот спустился со снежных вершин: «Ты не замерз?» — «Да нет же!» — «Всё равно согрейся немного...» К четверти второго у неё всё бывало готово. Тогда она звонила.

В эту ночь она спросила, как всегда:

— Фабьен уже приземлился?

Секретарь, взявший трубку, замялся:

— Кто говорит?

— Симона Фабьен.

— Одну минуту...

Не осмеливаясь ничего сказать, секретарь передал трубку заведующему бюро.

— Кто у телефона?

— Симона Фабьен.

— А!.. Слушаю вас, сударыня.

— Мой муж приземлился?

Последовало молчание, показавшееся ей необъяснимым. Затем короткий ответ:

— Нет.

— Он опаздывает?

— Да...

Снова молчание.

— Да... опаздывает.

— О!..

Это был вздох раненой плоти. Опоздание — пустяк... пустяк... Но если оно затягивается...

— О!.. В котором часу он должен прибыть?

— В котором часу он должен прибыть?.. Мы... мы не знаем.

Теперь перед ней была стена. Она слышала лишь эхо своих вопросов.

— Умоляю, ответьте мне! Где он сейчас?..

— Где он сейчас? Подождите...

Медлительность этих людей причиняла ей боль. Там, за стеной, что-то происходило.

Наконец они решились:

— Он вылетел из Комодоро в девятнадцать тридцать.

— И с тех пор?..

— С тех пор... сильно опаздывает... сильно опаздывает из-за плохой погоды...

— О! Из-за плохой погоды...

Какая несправедливость! И какое вероломство — в этой луне, празднично повисшей над Буэнос-Айресом!.. Молодая женщина вспомнила вдруг, что от Комодоро до Трилью каких-нибудь два часа полёта, не больше.

— И целых шесть часов он летит до Трилью?! Но посылает же он вам радиограммы... Что он говорит?

— Он говорит? Но в такую погоду... Вы сами понимаете... его радиограммы до нас не доходят.

— В такую погоду!..

— Итак, решено, сударыня: мы позвоним вам, как только что-нибудь узнаем.

— О, вы ничего не знаете...

— До свидания, сударыня.

— Нет! Нет! Я хочу говорить с директором!

— Господин директор очень занят, сударыня, он на совещании.

— Мне это безразлично! Совершенно безразлично! Я хочу с ним говорить!

Заведующий бюро вытер капли пота со лба:

— Одну минуточку...

Он открыл дверь Ривьера.

— С вами хочет говорить госпожа Фабьен.

«Вот оно, — подумал Ривьер, — вот начинается то, чего я боялся». На первый план драмы выступают чувства... Вначале Ривьеру хотелось их отвергнуть: матерей и жён не допускают в операционную. И на корабле в минуту опасности чувства должны молчать. Они не помогают спасти

людей... Однако он решился:

— Соедините её со мной.

Он услышал далёкий голос, слабый, дрожащий, и тотчас понял, что не сможет сказать ей правду. Сойтись сейчас в поединке — разве хоть одному из них это принесло бы какую-нибудь пользу?

— Прошу вас, успокойтесь, сударыня! В нашем деле так часто приходится подолгу ждать вестей.

Он приблизился к той грани, за которой вставала уже не беда отдельного, частного человека — возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а совершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне, такой грустной и такой враждебной. Ибо ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания. Она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже был прав; но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В лучах жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто не поддающееся выражению, бесчеловечное...

— Сударыня...

Она больше не слушала. Ему казалось — она рухнула у самых его ног, истощив силу своих слабых кулаков в борьбе с этой глухой стеной.

Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклонясь вместе с ним над раненым, что лежал возле строящегося моста:

«Стоит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?» Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы, ради сокращения пути, так страшно изуродовать чье-то лицо. И всё же мосты строятся... Инженер тогда же добавил: «Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз; и ни на чём другом основана быть не может». — «И всё же, — ответил ему позже Ривьер, — хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто ещё более ценное, чем человеческая жизнь... Но что?..»

И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабьена, у него сжималось сердце. Всякая деятельность — даже строительство мостов! — разбивает

чьё-то счастье, и Ривьер не мог не спросить себя: «Во имя чего?»

«Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, могли бы жить, жить счастливо», — думал Ривьер. Он видел лица, склонившиеся перед золотыми алтарями вечерних ламп. «Во имя чего я оторвал их от домашнего уюта?» Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы это счастье охранять? И вот он сам разбивает его. Но ведь рано или поздно — всё равно наступает час, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть разрушают их ещё безжалостней, чем он, Ривьер. Может быть, существует что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении? Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер? Иначе его деятельность лишена смысла.

«Любить, только любить — какой тупик!» Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнились слова: «Задача в том, чтобы дать им бессмертие...» Где он их прочёл? «Внутри самого себя бессмертия не найдешь.» Перед ним возник образ: храм в честь бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы... Не будь их — что осталось бы от могучей цивилизации, которая, словно укор совести, тяжестью этих камней давит на современного человека? «Во имя какой суровой необходимости — или странной любви — вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?» И снова Ривьер мысленно увидел толпы обывателей маленьких городков, что кружат вечерами вокруг музыкальных беседок... «Этот вид счастья — что конская сбруя», — подумал он. Перед лицом человеческих страданий вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости; но он ощущал безграничную жалость перед лицом человеческой смерти... Не смерти отдельных людей — он жалел весь род человеческий, чья участь — исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми пустыня бессильна.

Может быть, в этой сложенной вчетверо записке — спасение... Стиснув зубы, Фабьен разворачивает её.

«Связаться с Буэнос-Айресом невозможно. Я даже не могу больше работать ключом — искры бьют в пальцы.»

Разозлённый Фабьен хочет написать ответ; но стоит ему на миг отпустить штурвал, как мощная волна пронизывает тело: воздушные водовороты приподнимают его вместе с пятью тоннами металла и швыряют в сторону. Он отказывается от попыток писать.

Его руки снова сходятся на загровке волн и убаюкивают их.

Фабьен тяжело дышит. Если бортрадист, боясь грозы, убрал антенну, Фабьен разобьёт ему морду — дайте только приземлиться!.. Необходимо во что бы то ни стало, любой ценой связаться с Буэнос-Айресом! Как будто из Буэнос-Айреса, удаленного более чем на полторы тысячи километров, им могут бросить спасательную верёвку сюда, в эту бездну... Увидеть хотя бы огонёк, хотя бы трепетный свет лампы какого-нибудь постоянного двора! Даже это, в сущности бесполезное, мерцание могло бы сейчас послужить маяком; оно говорило бы о твёрдой земле. Но за неимением света Фабьен мечтает хотя бы о голосе, об одиноком голосе из того мира, который, кажется, перестал существовать. Пилот поднимает кулак и машет им в красноватом свете кабины: он хочет передать этим жестом тому, другому, сидящему сзади, весь трагизм их положения. Но радист, склонившийся над опустошённым пространством, над погребёнными городами, над мёртвыми огнями, не понимает его.

Фабьен готов последовать любому совету, только бы этот крик участия дошёл до него! Он думает: «Если бы мне сказали: лети по кругу, я полетел бы по кругу... И если бы мне сказали: иди прямо на юг...» А где-то существуют земли, объятые сладкой тишиной, земли, на которые легли огромные лунные тени. И над этими землями уверенно летят его товарищи, и они знают, все знают о том, что находится под ними; летят, склонившись, как учёные, над картами, летят, всемогущие, под защитой ламп, прекрасных, как цветы... А что известно ему, кроме водоворотов, кроме ночи, которая со скоростью горного обвала гонит навстречу самолёту свой бешеный чёрный поток? Не могут же люди оставить их здесь одних — среди смерчей и огненных вспышек. Не могут. Фабьен обязательно получит приказ. «Курс двести сорок...» Он ляжет на курс двести сорок... Но он —

один.

Теперь ему кажется, что сама материя взбунтовалась. Каждый раз, как машина ныряет вниз, мотор начинает так грозно трясти, что всю громаду самолёта пронизывает гневная дрожь. Выбиваясь из сил, Фабьен старается усмирить машину; он больше не смотрит в ночь; он сидит теперь, глядя на гироскоп; всё равно уже не различить, где кончается чернота неба и начинается чернота земли. Всё теряется, всё сливается в перевозданном мраке. А стрелки приборов дрожат всё сильнее. И всё труднее следить за ними. Обманутый их показаниями, пилот уже с трудом ориентируется; он теряет высоту и всё больше увязает в зыбучей тьме.

Прибор показывает высоту пятьсот метров. Это высота холмов. Пилоту чудится, что холмы бегут навстречу самолёту головокружительными волнами. Что все эти глыбы земли, самая маленькая из которых может вдребезги разбить самолёт, будто сорвались со своих креплений, отвинтились и начинают, как пьяные, кружить вокруг него, танцуя какой-то непостижимый танец, всё теснее и теснее смыкая кольцо.

И пилот принимает решение. Он посадит самолёт где придётся, с риском расплющить его о землю. И, желая избежать хотя бы столкновения с холмами, он выпускает в ночь единственную осветительную ракету. Ракета вспыхивает, взвивается, кружась, и, осветив гладкую равнину, гаснет. Под самолётом — море.

Молнией мелькает мысль: «Погиб. Даже при поправке в сорок градусов меня снесло. Это циклон. Где же земля?» Фабьен поворачивает прямо на запад. Он думает: «Уж теперь-то, без ракеты, я разобьюсь». Рано или поздно это должно было случиться. А его товарищ там, позади... «Он снял антенну — наверняка.» Но Фабьен больше не сердится на него. Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки, и тотчас их жизнь рассыплется горсточкой праха. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца — товарища и своё... И вдруг он пугается собственных рук.

Воздушные вихри бьют по самолёту, точно таран. Чтобы ослабить тряску штурвала, которая может оборвать тросы управления, он изо всех сил вцепился руками в штурвал и ни на секунду не отпускал его. А теперь он вдруг перестаёт ощущать свои руки — они будто заснули, утомлённые страшным усилием. Он пробует пошевелить пальцами, получить от них весточку, подтверждающую, что они ещё слушаются его. Руки оканчиваются не пальцами, а чем-то чужим. Какими-то вялыми и бесчувственными отростками. «Нужно изо всех сил думать, что я сжимаю пальцы...» Но он не знает, дойдёт ли эта мысль до его рук. Сотрясения

штурвала Фабьен чувствует теперь только по боли в плечах. «Штурвал ускользнёт от меня. Руки разожмутся» Но он пугается этой мысли; ему кажется, что на этот раз руки могут подчиниться таинственной силе воображения, что пальцы медленно разжимаются в темноте — и предают его.

Фабьен мог бы продолжить битву, мог бы ещё и ещё раз попытаться счастья; ведь рок — как внешняя сила — не существует. Но существует некий внутренний рок: наступает минута, когда человек вдруг чувствует себя уязвимым, — и тогда ошибки затягивают его, как головокружение...

И вдруг, как раз в одно из таких мгновений, грозовые тучи внезапно разорвались, и в их разрыве, прямо над его головой, засверкала, словно приманка в глубине таящих гибель силков, кучка звёзд.

Он понял, что это ловушка: видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним и потом уже не можешь спуститься — и грызи теперь свои звёзды...

Но пилот так изголодался по свету, что устремился вверх к звёздам.

XVI

Он поднялся. Теперь, благодаря звёздным ориентирам, стало немного легче справляться с болтанкой. Лучистый магнит звёзд притягивает к себе. Пилот так утомился в долгой погоне за светом! Он теперь ни за что не ушёл бы даже от самого смутного мерцания. Огонёк постоянного двора показался бы Фабьену сейчас таким богатством, что он кружился бы, не переставая, до самой смерти, вокруг этого желанного знамени...

И вот он возносится к светлым полям.

Поднимается медленно, по спирали, будто взбираясь вверх по шахте колодца, которая тут же смыкается под ним. И по мере того как Фабьен поднимается, тучи утрачивают свой грязный цвет, они плывут навстречу, как волны, и становятся всё чище, всё белее. И вот Фабьен вырывается из облаков.

Он поражён, ослеплён неожиданными потоками света. Он должен на несколько секунд закрыть глаза. Никогда бы пилот не поверил, что ночные облака могут быть так ослепительно яркие, — полная луна и блеск всех созвездий превратили их в лучезарные волны.

Одним прыжком вынырнув из туч, самолёт в тот же миг оказался в царстве неправдоподобного покоя. Сюда не доходила ни малейшая зыбь. Точно лодка, миновавшая мол, самолёт зашёл в защищённые воды. Он словно бросает якорь в неведомом уголке моря, в укромной бухте зачарованных островов. Внизу, под самолётом, бушует ураган; там совсем другой мир, толща в три тысячи метров, пронизанная бешеными порывами ветра, водяными смерчами, молниями; но этот мир урагана обращает к звёздам лицо из хрусталя и снега.

Фабьену мнится, что он достиг преддверия рая: всё вдруг засверкало — руки, одежда, крылья. Свет идёт не от звёзд; он бьёт снизу, он вокруг, он струится из этих белых масс.

Тучи, распластавшиеся под самолётом, отражают снежный блеск, полученный ими от луны. Они блестят, лучатся и слева и справа, высокие, как башни. Экипаж купается в молочных потоках света. Обернувшись, Фабьен видит, как улыбается бортрадист.

— Дело пошло на лад! — кричит радист.

Но голос тонет в шуме полёта, и единственной связью между ними остаются улыбки. «Я окончательно сошёл с ума, — думает Фабьен. — Я улыбаюсь... А мы погибли.»

Но всё-таки тысячи тёмных рук выпустили их. С Фабьена сняли путы, как с пленника, которому позволено немного погулять в одиночестве среди цветов.

«Чересчур красиво», — думает Фабьен. Он блуждает среди звёзд, которые насыпаны густо, как золотые монеты клада; он блуждает в мире, где, кроме него, Фабьена, и его товарища, нет ни единого живого существа. Подобно вора́м из древней легенды, они замурованы в сокровищнице, из которой им никогда уже не выйти. Они блуждают среди холодных россыпей драгоценных камней — бесконечно богатые, но обречённые.

XVII

Один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома Комодоро-Ривадавия сделал вдруг резкое движение рукой, и сразу все те, кто, томясь бессилием, нёс этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом.

Они склонились к ярко освещённому листку чистой бумаги. Рука радиста ещё колебалась в нерешительности, она ещё держала в плену заветные буквы, но пальцы уже дрожали, карандаш покачивался.

— Грозы?

Он кивнул. Треск разрядов мешал ему.

Вот радист начертил несколько неразборчивых значков. Потом слова. И уже можно разобрать текст:

«Блокированы над ураганом, высота три тысячи восемьсот. Идём прямо на запад, в глубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, ушли уже от моря или нет. Сообщите, как глубоко распространилась буря».

Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Айрес, пришлось, из-за грозы, пересылать её по цепочке, от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке.

Буэнос-Айрес распорядился ответить:

— Буря над всем материком. Сколько у вас осталось бензина?

— На полчаса.

И эта фраза — от дежурного к дежурному — достигла Буэнос-Айреса.

Экипаж был обречён: меньше чем через тридцать минут он погрузится в циклон, который понесёт его к земле.

XVIII

А Ривьер размышляет. Больше не остаётся ни малейшей надежды — экипаж погибнет где-то в ночи.

Ривьер вспоминает потрясшую его в детстве картину. Из пруда спускали воду, чтобы найти тело утопленника... И экипаж тоже не будет найден до тех пор, пока не схлынет с земли этот океан тьмы, пока снова не проступят в дневном свете пески, равнины, хлеба. Быть может, простые крестьяне найдут двух детей, которые словно спят, прикрыв лицо руками, среди трав и золота мирного дня. Но они мертвы — ночь уже потопила их.

Ривьер думает о сокровищах, погребённых в глубинах ночи, как в сказочных морях... Ночные яблони жадно ждут зари, ждут всеми своими цветами, которым ещё не довелось раскрыться. Ночь богата, полна запахов, спящих ягнят, полна цветов, ещё лишённых красок.

Тучные нивы, влажные рощи, прохладные луга медленно встанут навстречу заре. Но среди холмов, теперь совсем безобидных, среди пастбищ и ягнят, среди всей этой кротости земли останутся лежать, словно погрузившись в сон, двое детей. И какая-то частица зримого мира легкой струйкой перельётся в иной мир.

Ривьер знает жену Фабьена, беспокойную и нежную: ей дали лишь прикоснуться к любви — так ненадолго дают игрушку бедному ребёнку.

Ривьер думает о руке Фабьена, которая пока — ей остались считанные минуты — держит штурвал, держит свою судьбу. О руке, которая умела ласкать. О руке, которая прикасалась к груди и рождала в ней волнение, словно рука Бога. О руке, что прикасалась к лицу, и лицо преобразалось. О чудотворной руке.

Фабьен летит сейчас над ночным великолепием облачных морей, но под этими морями — вечность. Он заблудился среди созвездий. Он единственный житель звёзд. Он пока ещё держит мир в своих руках, укачивает его, прижав к груди. Фабьен сжимает штурвал, в котором заключён для него груз человеческих богатств, и несёт в отчаянии от звезды к звезде бесполезное сокровище, которое ему скоро придётся выпустить из рук...

Ривьер думает о том, что радиостанция ещё слышит Фабьена. Лишь одна музыкальная волна, полная минорных переливов, ещё связывает Фабьена с миром. Не жалоба. Не крик. Нет, самый чистый из звуков, когда-либо порождённых отчаянием.

XIX

Робино нарушил одиночество Ривьера:

— Господин директор, я подумал... может быть, всё же попробовать...

У Робино не было никаких предложений; он просто хотел засвидетельствовать свою добрую волю. Он был бы счастлив найти какое-нибудь решение, он искал его как разгадку ребуса. Но обычно выходило так, что Ривьер и слушать не хотел об инспекторских решениях. «Видите ли, Робино, — говорил Ривьер, — в жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать. Тогда придут и решения». Итак, Робино должен был ограничиться ролью творца движущейся силы среди сословия механиков; силы довольно жалкой, которая предохраняла от ржавчины втулки винтов.

А перед лицом событий нынешней ночи Робино оказался безоружным. Его инспекторское звание не давало ему, оказывается, никакой власти над грозами и над призрачным экипажем, который, право же, боролся сейчас уже отнюдь не ради получения премии за точность. Экипаж сейчас стремился уйти от того единственного взыскания, которое снимало все взыскания, налагаемые инспектором Робино, — уйти от смерти.

И никому не нужный Робино бесцельно слонялся из комнаты в комнату.

Жена Фабьена попросила доложить о себе. Мучимая тревогой, она сидела в комнате секретарей и ждала, когда Ривьер её примет. Секретари украдкой поглядывали на неё. Это её смущало; она боязливо осматривалась. Всё здесь казалось ей враждебным: и эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка чёрствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь говорившее о Фабьене... Дома всё кричало о его отсутствии: приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов... А здесь она не находила ни одной приметы. Здесь всё было чуждо и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу (при ней старались говорить тихо) — услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись: «...опись динамо-машин, черт побери, которые мы послали в Сантос!» Симона посмотрела на этого человека с безграничным удивлением. Потом перевела взгляд на стену, где

висела карта. Её губы слегка дрожали.

Ей было неловко; она догадывалась, что олицетворяет здесь правду, враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда, ей хотелось спрятаться, и, из боязни оказаться слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой.

Но её правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались украдкой к её лицу и читали на нём эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить.

Ривьер принял её.

Она пришла, чтобы робко защищать свои цветы, свой поданный на стол кофе, своё юное тело. В этом кабинете, ещё более холодном, чем другие комнаты, её губы опять задрожали. Симона поняла, что не сможет выразить свою правду в этом чуждом мире. Всё, что восставало в ней: её горячая, как у дикарки, любовь, её преданность, — всё это здесь могло показаться чем-то докучливым и эгоистичным. Ей захотелось отсюда бежать.

— Я вам помешала?..

— Вы мне не мешаете, сударыня, — ответил Ривьер. — Но, к сожалению, нам с вами остается только одно: ждать.

Она еле заметно пожала плечами, и Ривьер понял смысл этого движения: «Зачем мне тогда лампа, и накрытый к обеду стол, и цветы — всё, что ждёт меня дома...» Одна молодая мать однажды призналась Ривьеру: «До сих пор до меня не доходит, что ребёнок мой умер... Об этом жестоко напоминают разные мелочи: вдруг попадается на глаза что-нибудь из его одежды... Просыпаешься ночью, и к сердцу подступает такая нежность — нежность, никому не нужная, как моё молоко...» Вот и эта женщина начнёт завтра с таким трудом свыкаться со смертью Фабьена, обнаруживая её в каждом своём — отныне бесплодном — движении, в каждой привычной вещи. Фабьен будет медленно покидать их дом.

Ривьер скрывал глубокую жалость.

— Сударыня...

Молодая женщина уходила, улыбаясь чуть ли не униженной улыбкой, уходила, не догадываясь о своей собственной силе.

Ривьер тяжело опустился в кресло.

«А она помогает мне открыть то, чего я искал...»

Рассеянно похлопывал он по стопке телеграмм, сообщавших о погоде над северными аэродромами, и думал:

«Мы не требуем бессмертия; но нам невыносимо видеть, как поступки и вещи внезапно теряют свой смысл. Тогда обнаруживается окружающая нас пустота...»

Его взгляд упал на телеграммы.

«Вот такими путями и проникает к нам смерть: через эти послания, которые утратили теперь всякий смысл...»

Он посмотрел на Робино. Этот недалёкий и бесполезный сейчас малый тоже утратил всякий смысл. Ривьер бросил ему почти грубо:

— Что же, прикажете, чтобы я сам нашёл вам дело? Ривьер толкнул дверь, которая вела в комнату секретарей, и исчезновение Фабьена стало для него очевидным, поразило его: он увидел те признаки, которые не сумела увидеть госпожа Фабьен. На стенной диаграмме, в графе оборудования, подлежащего списанию, уже значилась карточка РБ-903 — самолёт Фабьена.

Служащие, готовившие документы для европейского почтового, работали с прохладцей, зная, что вылет задерживается. Звонили с посадочной площадки — требовали инструкций для команд, чьё дежурство стало бесцельным. Все жизненные функции были точно заморожены. «Вот она, смерть!» — подумал Ривьер. Дело его жизни легло в дрейф, словно парусник, застигнутый штилем в открытом море.

Он услышал голос Робино:

— Господин директор... они женаты всего полтора месяца...

— Идите работать.

Ривьер всё ещё смотрел на секретарей и видел за ними подсобных рабочих, механиков, пилотов, видел всех тех, кто своей верой созидателей помогал ему в его труде. Он подумал о маленьких городках давних времён. Услышав об «Островах», их жители построили корабль и нагрузили его своими надеждами. Чтобы все увидели, как их надежды распускают паруса над морем. И люди выросли, вырвались из узкого мирка; корабль принёс им освобождение. «Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие.»

И если Ривьер вернёт телеграммам их подлинный смысл, если он вернёт дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам — их полную драматизма цель, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело

вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса
кораблей в открытом море.

Комодоро-Ривадавия больше ничего не слышит, но спустя двадцать минут Байя-Бланка, расположенная за тысячу километров от Комодоро, ловит второе послание:

«Спускаемся. Входим в облака...»

Потом — два слова из невнятного текста доходят до радиостанции Трилью:

«...ничего разглядеть...»

Таковы уж короткие волны. Там их поймашь, здесь ничего не слышно. Потом вдруг всё меняется без всякой причины. И экипаж, летящий неведомо где, возникает перед живыми так, словно он существует вне времени и пространства. И слова, проступающие на белых листках у аппаратов радиостанций, написаны уже рукой привидений.

Кончился бензин? Или перед лицом неизбежной аварии пилот решил сделать последнюю ставку: сесть на землю, не разбившись о неё?

Голос Буэнос-Айреса приказывает Трилью:

«Спросите его об этом».

Аппаратная радиостанции похожа на лабораторию: никель, медь, манометры, сеть проводов. Дежурные радисты в белых халатах молчаливо склонились над столами, и кажется, будто они проводят какой-то опыт.

Чуткими пальцами прикасаются радисты к приборам; они ведут разведку магнитного неба, словно нащупывая волшебной палочкой золотую жилу.

— Не отвечает?

— Не отвечает.

Может быть, им удастся услышать звук, который явился бы признаком жизни. Если самолёт и его бортовые огни снова поднимаются к звёздам, быть может, удастся услышать, как поёт эта звезда...

Секунды текут. Они текут, как кровь. Продолжается ли полёт? Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды. И начинает казаться, что уходящее время — разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и обратить храм в кучку праха; теперь эти века разрушения, сжавшись пружиной, нависли над экипажем: пружина каждый миг грозит развернуться.

Каждая секунда что-то уносит с собой. Уносит голос Фабьена, смех

Фабьена, его улыбку. Всё ширится власть молчания. Оно наливается тяжестью, наваливаясь на экипаж, как толща океана.

Кто-то говорит:

— Час сорок. Бензин весь. Не может быть, чтобы они ещё летели.

Наступает тишина.

На губах какой-то горький, неприятный привкус, как в конце долгого пути. Свершилось что-то неведомое, что-то вызывающее смутное чувство отвращения. Среди всех этих никелированных деталей, среди медных артерий чувствуется печаль — та самая, что царит над разрушенными заводами. Оборудование кажется тяжёлым, ненужным, бесполезным — кажется грузом мёртвых сучьев.

Остается ждать дня.

Через несколько часов Аргентина всплывёт из глубин навстречу дню, и люди остаются на своих местах, как на песчаном берегу, глядя, как медленно выступает из воды невод. И что в нём — неизвестно...

Ривьер в своём кабинете ощущает ту горькую опустошённость, которую познаёшь только в часы великих бедствий, когда судьба освобождает человека от необходимости что-то решать. Он поднял на ноги всю полицию. Больше он ничего не может сделать. Только ждать.

Но порядок должен царить даже в доме умершего. Ривьер делает знак Робино:

— Дайте телеграмму северным аэродромам: предвидится серьёзное опоздание патагонского почтового. Чтобы не задерживать почтовый на Европу, патагонскую почту отправим со следующим европейским.

Слегка сутулясь, Ривьер склоняется над столом. Потом делает над собой усилие, заставляет себя вспомнить что-то важное... Ах да! И, чтобы снова не забыть, зовет:

— Робино!

— Да, господин Ривьер.

— Набросайте проект приказа. Пилотам запрещается превышать тысячу девятьсот оборотов. Они калечат мне моторы.

— Хорошо, господин Ривьер.

Ривьер сутулится ещё больше. Хорошо бы сейчас побыть одному.

— Идите, Робино. Идите, старина.

И инспектора Робино ужасает это равенство перед лицом призраков.

Робино меланхолически бродил по конторе. Жизнь компании приостановилась: ночное отправление почтового, обычно вылетающего в два часа, видимо, отменено, и самолёт вылетит только с рассветом. Служащие с хмурыми лицами ещё дежурили, но их дежурство было бесцельным. С северных аэропортов метеосводки ещё поступали с обычной регулярностью; но все эти слова о «ясном небе», о «полной луне» и «совершенном безветрии» вызывали теперь лишь представление о каком-то мёртвом царстве. Лунная, каменистая пустыня...

Перебирая без всякой цели папку с бумагами, над которыми трудился заведующий бюро, Робино вдруг обнаружил, что тот стоит прямо перед ним с нагло-почтительным видом — в ожидании, когда ему вернут наконец его папку. Казалось, он говорил: «Разумеется, как вам угодно, но всё же это мои бумаги...» Такое поведение подчиненного покорило инспектора; но он не нашёлся что сказать и раздражённо протянул ему папку. Заведующий бюро вернулся на своё место с выражением величайшего благородства. «Мне следовало послать его ко всем чертям», — подумал Робино. И, сохраняя достоинство, он сделал несколько шагов по комнате, думая о драме. Эта драма повлечёт за собой опалу для Ривьера и всей его политики. Робино страдал и за Фабьена и за Ривьера.

Потом перед его глазами возник образ Ривьера, одиноко сидящего в своём кабинете, Ривьера, который сказал ему: «Старина...» Никогда ещё человек так не нуждался в поддержке. Робино от души пожалел Ривьера. Он перебирал в уме несколько туманных фраз, предназначенных для сочувствия и утешения. Его охватил порыв, показавшийся ему прекрасным. Робино тихонько постучал в дверь. Ответа не было. Не осмеливаясь нарушать тишину более громким стуком, он отворил дверь. Ривьер был в кабинете. Впервые Робино входил к Ривьеру не на цыпочках, а ступая почти на всю ступню, входил почти как друг; ему представлялось, что он сержант, который под пулями следует за раненым генералом, не отходит от него ни на шаг в часы разгрома и, как брат, идёт вместе с ним в изгнание. Казалось, Робино хотел сказать: «Что бы ни случилось, я всегда с вами».

Ривьер молчал и, наклонив голову, смотрел на свои руки. И Робино, стоя перед ним, не смел заговорить. Лев, хотя и поверженный, вселял в него робость. Инспектор подыскивал высокие слова, которые должны были выразить его стремление к самопожертвованию; но каждый раз, подымая

глаза, он видел перед собой склонённую голову, седые волосы, горько — о, как горько! — сжатые губы. Наконец он решился:

— Господин директор...

Ривьер поднял голову и посмотрел на него. Он очнулся от задумчивости такой глубокой, вернулся из такой дали, что, вероятно, даже не заметил присутствия Робино. И никому никогда не узнать, какие видения прошли перед глазами Ривьера, что пришлось ему испытать в эти минуты и какая печаль охватила его сердце... Ривьер смотрел на Робино долгим взглядом, словно на живого свидетеля каких-то событий. Робино смутился. И чем дольше смотрел на него Ривьер, тем яснее обозначалась на его губах непостижимая для Робино ирония. Чем дольше смотрел на него Ривьер, тем больше краснел Робино. И Ривьеру всё больше казалось, что Робино с его трогательно добрыми и, к сожалению, необдуманно намерениями пришёл сюда живым свидетельством человеческой глупости.

Робино охватило сомнение. Сержант, генерал, град пуль — всё оказалось неуместным. Он не понимал, что происходит. Ривьер всё смотрел на него. И Робино невольно даже переменял позу, вытащил руку из левого кармана. Ривьер всё смотрел на него. Тогда, с чувством огромной неловкости, сам не зная почему, Робино произнёс:

— Я пришёл за распоряжениями.

Ривьер вынул часы и просто сказал:

— Два часа. Почтовый из Асунсьона приземлится в два десять... Прикажете дать отправление европейскому почтовому в два пятнадцать.

И Робино разнёс по конторе удивительную весть: ночные полёты не отменены. Он обратился к заведующему бюро:

— Принесите мне ту папку, я проверю её.

Когда заведующий бюро подошёл к нему, Робино сказал:

— Ждите.

И заведующий бюро ждал.

Почтовый из Асунсьона дал сигнал: «Иду на посадку». Даже в самые горькие часы этой ночи Ривьер не переставал следить по телеграммам за благополучным движением асунсьонского самолёта. Это было для Ривьера своего рода реваншем за поражение, доказательством его правоты. Телеграммы об этом счастливом полёте были провозвестниками тысяч других столь же счастливых полётов. «Не каждую же ночь свирепствуют циклоны.» Ривьер думал также: «Путь проложен — сворачивать нельзя».

Спускаясь из Парагвая по ступенькам аэродромов, словно выходя из чудесного сада, богатого цветами, низенькими домиками и медлительными водами, самолёт скользил вне границ циклона, и тучи не закрывали от него ни одной звезды. Девять пассажиров, закутавшись в пледы, прижимались лбами к окошкам, словно к витринам с драгоценностями: маленькие аргентинские города уже перебирали во мраке свои золотые чётки, а над ними отливало нежным блеском золото звёздных городов. Впереди пилот поддерживал своими руками бесценный груз человеческих жизней; в его больших, широко раскрытых глазах козопаса отражалась луна. Буэнос-Айрес уже заливал горизонт розоватым пламенем, готовый засверкать всеми своими камнями, подобно сказочному сокровищу. Пальцы радиста посылали последние радиogramмы — точно финальные звуки большой сонаты, которую он весело отбарабанил в небе и мелодию которой так хорошо понимал Ривьер; потом радист убрал антенну, зевнул, слегка потянувшись, и улыбнулся: прибыли!

Посадив машину, лётчик увидел пилота европейского почтового; тот стоял, заложив руки в карманы и привалившись спиной к своему самолёту.

— А! Это ты повезёшь почту дальше?

— Да.

— Патаговец уже здесь?

— Его и не ждут. Пропал без вести. Погода хорошая?

— Великолепная. Значит, Фабьен пропал?

Они не стали много говорить на эту тему. Ощущение великого братства избавляло их от необходимости произносить громкие слова.

Мешки с асунсьонской транзитной почтой перегружались в европейский самолёт; пилот, по-прежнему не шевелясь, закинул голову и, прислонившись затылком к кабине, смотрел на звёзды. Он чувствовал, как рождается в нём огромная сила, как затопляет его могучая радость.

— Погрузили? — спросил чей-то голос. — Тогда — контакт!

Пилот всё не шевелился. Запустили мотор. Плечами, прижатыми к самолёту, пилот ощутил, что самолёт ожил. Наконец-то, после стольких ложных слухов — летим... не летим... летим... — пилот мог быть спокоен. Его рот приоткрылся; при свете луны сверкнули зубы, словно зубы молодого хищника.

— Осторожно... ночью... эй!

Он не слышал советов товарища. Засунув руки в карманы, запрокинув голову, обратив лицо к тучам, горам, рекам и морям, он беззвучно смеялся. Смех был неслышным, но он пронизал его, пробежав по всему телу, как ветерок пробегает по листве. Смех был совсем неслышным, но он был гораздо сильнее и туч, и гор, и рек, и морей.

— Что это на тебя нашло?

— Этот болван Ривьер воображает... что... что мне страшно!

XXIII

Через минуту он взлетит над Буэнос-Айресом, и Ривьер, возобновивший битву, хочет его услышать. Услышать, как он возникнет, пророкочет и растает, словно грозная поступь армии, движущейся среди звёзд.

Скрестив руки, Ривьер проходит мимо секретарей. Он останавливается перед открытым окном, слушает и размышляет.

Если бы он отменил один-единственный вылет, дело ночных полётов было бы проиграно. Но, опережая тех слабых, которые завтра от него отрекутся, Ривьер выпустил в ночь ещё один экипаж.

Победа... поражение... эти высокие слова лишены всякого смысла. Жизнь не парит в таких высотах; она уже рождает новые образы. Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нём новые силы. Ривьер потерпел поражение, но оно может стать уроком, который приблизит подлинную победу. Лишь одно следует принимать в расчёт: движение событий.

Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни; в этом — решение всех задач.

Уже взлетает к небу мелодия органа: самолёт.

Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер Великий, Ривьер Победитель, несущий груз своей трудной победы.